



Олег Басилашвили: «Мне Ксюшка напоминает мою маму. Мне было очень приятно, что, приехав в Москву, она жила в той же комнате, которую я покинул. Она вместо меня приехала продолжать эту жизнь»

У меня есть карта, где красным карандашом, точками, отмечены места в Москве и Подмосковье, где отреставрированы и построены его церкви. Один храм — в Златоустевском переулке — до сих пор стоит. Есть еще в Сокольниках, на Ярославском шоссе. Интересно, что, когда ему надо было в двадцатые годы составить отчет для комиссии, чтобы дали пенсию, первое, что он упомянул, — кирпичную стену для какой-то фабрики и кирпичную трубу. Он не был архитектором масштаба Щусева или Шехтеля, просто нормальный городской архитектор, к которому можно было обратиться, чтобы по не очень дорогой цене построить доходный дом.

Олег Валерьянович, вы москвич, но с грузинской фамилией... Отец был грузинских корней и наполовину поляк. Бабушка моя — поляка, а отец — грузин. Грузинские свои корни я ощущаю слабее значительно, чем русские. Потому что я всю жизнь прожил в России, родился в Москве, до двадцати с лишним лет в ней прожил, остальное время — в Петербурге, на этом болоте, но все время ездил в Москву, используя каждое мгновение — командировки, съемки, концерты, спектакли. Чтобы выйти на «Кировской», теперь это «Чистые пруды», увидеть «Чистаки», а мимо катит трамвай «Аннушка», «39» или «3», свернуть к себе, подняться наверх,

открыть дверь, и запах пирогов с капустой, которыми меня встречают, и пойдут разговоры — это все согрело мою душу.

Но в Москву вы так и не вернулись. Я не переехал в Москву обратно, хотя очень хотел там работать и жить. Это моя родина, Покровка моя любимая, родители, друзья, которых постепенно я терял, потому что нельзя на расстоянии восьмисот километров быть привязанными друг к другу, это почти невозможно. Сюда, в Питер, я приехал взрослым. Дружба, знаете, начинается с раннего детства. Со школы. В зрелом возрасте товарищество, приятельство — да, но дружба уже невозможна.

Я стремился в Москву, но меня не отпускал театр. Поначалу в театре мне было очень трудно, там была крайне высоко поднята планка, эту планку подчас перепрыгивали замечательные артисты, а мне было до нее не дотянуться. Я дал себе слово, что не уйду отсюда до тех пор, пока сам себе не докажу, что способен это сделать. А когда понял, что могу, — жаль уходить, потому что во главе театра стоял великий режиссер Георгий Александрович Товстоногов. Была надежда на работу с ним, новые роли — как можно уходить, кто мне ближе? Были замечательные режиссеры — Эфрос, Ефремов, Любимов. Но Товстоногов был все-таки значительно ближе, чем они. Меня звали в Москву неоднократно, но я не откликнулся на этот зов. Когда Георгий Александрович стал слабеть, таков процесс человеческой жизни — старение, от него стали уходить артисты. И тут меня опять стали приглашать московские театры. Я понял, что это было бы крайне безнравственно — в такую минуту, когда он сам чувствует свою слабость, плюнуть ему в лицо, не сказав спасибо. И уехать в Москву. И я этого не сделал.

Меня приглашали в Москву опять уже после его смерти. Тут я подумал, что театр в таком положении — тоже нехорошо. Кроме того, у меня еще личные причины. И жена моя, и мои дочери — это все ленинградцы, корни их здесь. Ехать в Москву — это вырывать их из почвы им привычной. Ну, вот так я и остался здесь жить.

Когда вы поняли, что «планка преодолена»? Было много всяких ролей, когда я чувствовал, что играю правильно, интересно и хорошо, но Георгий Александрович не давал мне поводов думать, что он это заметил. И только один раз, после премьеры «Трех сестер», он поднял бокал за меня. А когда меня ввели в спектакль «Энергичные люди» Шукшина на роль персонажа, который назывался «человек с простым лицом», или «простой человек», он устроил — это вообще было неслыханно, за что меня очень многие возненавидели, — в мою честь банкет. Он вообще ничего подобного не делал, а тут позвал всех в свой кабинет — коньяк, шампанское, какие-то закуски, поднял бокал. Я его очень любил. Он был как бы моим вторым родителем. Поэтому предавать его и его память я не мог.

Если сравнить ваше поколение «шестидесятников» с людьми, которые формировались в эпоху гласности, может показаться, что вы были в центре внимания: вас хвалили, ругали, награждали, высылали из страны, а их просто не замечают. Мне кажется, что старшее поколение к нынешним тридцатилетним относится как к коллегам. Невзирая на возраст. Это хорошо. Мы были окружены мнимым вниманием. Получали всякие медали, звания, грамоты, которые гроша ломаного не стоили. Ставили перед нами кормушки в виде каких-то благ номенклатурных. Это унижительно было и антигуманно. Сейчас молодежь поставлена в нормальные, но очень трудные условия конкуренции. И они отлично понимают свою ответственность. Им труднее. И это хорошо, потому что в борьбе за жизнь, за свое место под солнцем могут наконец-то появиться личности, равные тем, кто был выслан нашим вождем, гниющим в Мавзолее товарищем Лениным, в двадцатые годы на «корабле философов». Я так полагаю.

Мне кажется, что шестидесятые годы — время нашей юности, любви, ухаживаний, надежд, песен Окуджавы — были временем нашего незнания, что есть мир вообще, что, оказывается, можно иметь не одну пару брюк, можно сесть в самолет и лететь из Испании в Африку, — мы этого тоже не знали. Как у Жванецкого — вот моя родина, здесь я живу, а Прибалтика — это для меня заграница. И тайга с гитарой — вот и все. А для нынешних молодых людей открыт мир, перед ними масса возможностей. Они наделены равными правами. Но в последнее время у меня такое ощущение, что у них эти права отбирают, их снова загоняют в тот самый колхоз, который назывался социалистическим лагерем.